

---

# Из жизни Дарвиновского музея и его основателя

1960

Александр Федорович Котс

«Увы, дела и мысли людей далеко не так значительны, как их скорби.»

—А. Чехов

Приближаясь к близкому закату моей жизни, полагаю справедливым помянуть не столько светлые моменты и переживания, закрепленные в конкретных образах и достижениях Дарвиновского Музея и в несметных выражениях благодарности, что заполняет «Книги Отзывов», оставленных за полстолетие посетителями, сколько те «невидимые миру слезы» от обид и оскорблений, щедр выпавших на мою долю.

Опуская первое мое большое, на деле столь оправданное горе — вынужденное оставление московского Университета, что фактически равнялось гибели моей «академической карьеры», для которой я готовил себя с отроческих лет, начну свой полугорестный рассказ с момента приглашения меня в число преподавателей Московских Высших Женских Курсов, год спустя по окончании Университета, приглашения, ставшего поводом моего вынужденного ухода из него.

Вначале, правда, не могли не захватить меня одни лишь светлые и положительные стороны моей работы.

Эти сотни юных девушек со всех концов России, съехавшихся в Москву для получения Высшего Образования, не уступали энтузиазмом молодому лектору-преподавателю, особенно, когда в виде моральной компенсации за вынужденный мой уход из Университета, ради Женских Курсов, деканатом Физико-Математического факультета Курсов мне было поручено не только временное чтение обязательного Курса Анатомии Человека для Естественниц, но что неизмеримо более существенно, лекций по Дарвинизму, правда, под завуалированным названием «Демонстрационного Курса Зоологии.»

Завуалированность эта обусловлена была не столько однозначным отношением тогдашнего Московского Учебного Округа к учению Дарвина (Женские Курсы были учреждением частным, а на таковые, не в пример казенным университета, «око» цензорское было менее сурово...), сколько неимением у меня «академического стажа» и ученой степени. Последняя, хотя бы в ранге «магистранта», даровалась лишь по сдаче магистерского экзамена. Последний же был простой формальностью при «добрых» отношениях аспиранта и экзаменаторов, но был неодолимым при отсутствии таковых.

Такое положение как нельзя лучше подтвердилось при моей попытке одолеть этот ближайший обязательный барьер академической карьеры. Обратившись за программами по ряду более второстепенных дисциплин, как Палеонтологии, Ботаники, которых кафедры в ту пору занимались видными учеными, к тому же знавшими меня, как молодого, но вполне сложившегося биолога, уже работавшего на приморских станциях Вилла-Франки и Гельголланда, изучаваега крупнейшие музеи Западной Европы, в том числе коллекции Британского Музея, этот ряд профессоров, Геолог А.П. **Павлов**, ботаник И. **Голенкин** и зоолог Н.Ю. **Зюграф** ограничились рекомендацией немногих книг, классических и мне давно известных.

Но не то, когда я обратился к главному экзаменатору, бледному хорошо известного исследователя Средней Азии-профессору А.Н. **Северцеву**, этой былой «провинциальной знаменитости». Нахмутив по обыкновению брови с напускной значительностью, не украсившей его на редкость малосимпатичного лица, этот преемник по бесцеремонно им занятой кафедры моего учителя, профессора М.А. **Мензбира**, уволенного произволом царского Министерства, предложил «Программу» книг, которых одолеть возможно было лишь в течение десятков лет.

— «А по прочтении каждой книги я бы предложил представить мне Вами написанный конспект прочитанного! пояснил любезно мне, как школьнику, жалкий преемник изгнанного произволом черносотенного Министерства моего учителя.»

На высказанное мною пожелание — иметь программу несколько иного содержания, а именно по общей биологии и дарвинизму, более связанную с моим научным профилем, — последовала ироническая реплика, высокомерно брошенная из оскаленного рта: «Вы хотите, чтобы я вам скинул?»

После реплики такого рода мне, конечно, приходилось только поклониться и покинуть комнату самовлюбленной провинциальной знаменитости, которой самые банальные, элементарнейшие факты зоологии оказывались «новостью», как это выяснилось на одном публичном заседании, Северцев извлек из своего кармана в целях назидания фотографию, изображавшую пятнистость молодого львенка, факт, известный каждому юннату!

От преодоления первого барьера на пути к академической карьере, сдачи магистерского экзамена — этой архаики державшейся лишь по традиции и о ненужности которой убедительно писал когда-то выдающийся ученый мирового ранга — **Н. Кольцов** — мне поневоле приходилось отказаться и надолго пребывать на положении «Помощника преподавателя», как значилось академическое звание таких, не одолевших магистрантского «Шлагбаума» молодых ученых.

А положение это было неприглядное.

В отличие от Университета, факультетские собрания Высших Женских Курсов разрешались посещать также «помощникам преподавателей» но только с правом «Совещательного голоса». **Решающим** — располагали только полноправные преподаватели, хотя бы только магистранты.

По сравнению с Университетами, их факультетскими собраниями, доступными только профессорам, с недопущением даже доцентов с высшими академическими званиями, порядок, принятый на Курсах, был по виду более «либеральный.»

Но не то на самом деле. Будь полноправный основной преподавательский состав действительно высокий по квалификации — с этим возможно было бы мириться.

Но не то, на деле. За ничтожным исключением немногих подлинно больших и общепризнанных ученых (как директора тогдашних курсов, замечательного физика, участника в создании Советской авиации, профессора С.А. **Чаплыгина**, ученых мирового ранга, цитолога Н.К. **Кольцова** и зоолога П. **Сушкина**, талантливого физика **Эйхенвальда** — большинство преподавателей тогдашних Высших Женских Курсов, говоря точнее, физико-математического факультета Курсов состояло в лучшем случае лишь из хороших опытных преподавателей, а частью даже из заведомых бездарностей по линии как лекторско-преподавательской так и научной, собственно-исследовательских достижений.

И там незавиднее была роль молодых «помощников преподавателей» с их совещательным лишь голосом на факультетских заседаниях, когда за редким исключением такие голоса оказывались устремленными в пространство.

И припоминая долгое десятилетие моего бесправного по существу (а не формального лишь) выступления на факультетских заседаниях, я в праве утверждать, что только несомнительный успех читавшихся мною лекций и в особенности курса Дарвинизма, собиравшего неизменно полную аудиторию, вопреки **необязательности** этих моих лекций, примирял меня в известной мере с этим оскорбительным бесправием.

Однако, справедливость требует отметить, что успешность моей деятельности на Курсах признавалась их Директором, профессором С.А. **Чаплыгиным**, как и руководящими членами факультета. Убедиться в этом помогла угроза, неожиданно надвинувшаяся на меня.

По не совсем понятным для меня мотивам (вероятно под давлением извне) был неожиданно объявлен Курсами официальный конкурс на занятие кафедры Дарвинизма, в сущности дотеле занимаемой мною лишь под «завуалированным» именем «Демонстрационного Курса Зоологии.» Но как то явствует из изданного печатного «Обзора» преподавания Зоологии на Женских Курсах представлявшего собою самый подлинный курс Дарвинизма, опиравшийся к тому же о богатейшие уже в ту пору экспонаты моего Музея.

Можно с полной уверенностью утверждать, что в сходном оформлении нигде, не только на Руси, но во всей Европе курса дарвинизма не читалось, что же до фактического содержания самих лекций, то при всей тогдашней моей молодости не могло не чувствоваться ни мое бывшее личное знакомство с величайшими учеными из Дарвинистов Западной Европы (Геккелем, Вейсманом, Де-Фризом..) с постановкой сходных курсов за границей и обширных знаний, вынесенных мною из работ моих на Приморских Станциях Вилла-Франки и Гельгоlanda, или по Музеям Западной Европы и в особенности Англии.

Но, разумеется, все эти не совсем обычные для молодого лектора-зоолога условия и данные не в силах были заменить отсутствие «Ученой Степени» и неимение печатных трудов.

Мое серьезное студенческое («кандидатское») сочинение, посвященное эмбриологии птичьего черепа, потребовавшее десятков тысяч микротомных срезов, как и первое юношеское описание моих исследований в Юго-Западной Сибири (Акмолинской Области и Барабинской степи) — мирно покоились в столе профессора **Мензбира** и ввиду размолвки с последним были только много позже, после ликвидации последней, превосходно изданы в трудах Московского Общества Испытателей Природы.

Таким образом, ко дню объявленного конкурса защитой моей были лишь мое собрание птиц, зверей и насекомых моего Музея, да успехи моего преподавания.

Как бы то ни было, но Конкурс был объявлен. На него откликнулось два кандидата. Оба почтенных старца, обладатели не только лысин и седин, но ученых рангов, докторских ученых степеней и диссертаций.

Кандидаты эти были: знаменитый, как ученый публицист, ботаник-дарвинист К.А. **Тимирязев** и зоолог Н.А. **Иванцов** известный более своими философскими этюдами в Журнале «Вопросы философии и Психологии», в частности глубоко негативной, чтобы не сказать уничтожающей оценкой Франциска Бекона.

С одним из этих кандидатов на мой пост, именно с **Иванцовым**, мне довольно часто доводилось ранее встречаться на уроках рисования у художника Н.А. **Мартынова** в прелестной студии которого я часто видел Иванцова, крупного и громогласного брюнета, выправлявшего свои не в меру яркие, крикливые этюды, писанные им в Италии.

С другим, гораздо более серьезным претендентом на годами занимаемую мною кафедру, именно **Тимирязевым** одна, при том единственная встреча со времен студенчества, была в высокой степени симптоматичной.

Собираясь, будучи студентом II-го Курса, в 1902 году для участия в Саянской экспедиции тогдашнего доцента, а позднее Академика П. **Сушкина**, мне было важно сдать хотя бы часть экзаменов, не выжидая весенней экзаменационной сессии, дабы не упустить весеннего пролета птиц в долине Енисея.

И поскольку эти полукурсовые испытания проводились ассистентами, а не самим профессором и диктовались в моем случае научными интересами, а не капризом, я не думал встретить затруднений в исполнении моей просьбы. И действительно отказа не было у большинства профессоров.

Тем более уверен был я в исполнении моей просьбы в отношении Тимирязева, отлично зная его ироничные печатные высказывания по поводу царившей тогда мании к экзаменам.

Поднимаюсь в Институт Физиологии растений Университета. На звонок мой — к удивлению, дверь открывает сам Климент Аркадьевич. Едва услышав, что у меня есть дело до него, профессор схватывает меня почти в обнимку за плечи и увлекает за собой. Проносимся через ряд комнат, чтобы, наконец, остановить свой бег в одной, по-видимому кабинете самого профессора.

Чуть не насильно усадив меня и сев против меня чуть не касаясь моих ног, участливо заглядывая мне в глаза, профессор всей своей фигурой олицетворял живейшее свое участие и беспредельную готовность.

Но зная слабость Тимирязева в «заискивании» у студентов, я не слишком удивлен был этим «неакадемическим» приемом.

Но тем более я поражен был, когда лишь едва услышав, что прошу я, в интересах экспедиции, о разрешении мне сдать экзамен по его предмету двумя месяцами раньше срока, как «либерализм» Тимирязева исчез бесследно, заменившись репликой, точнее, окриком, уместным разве царскому былому прокурору и его секретарят.

— «Закон, Закон!» сурово, назидательно послышался ответ из уст, дотоле столь услужливого Тимирязева, — «Закон! Закон!» — снова и снова это с каким-то прокурорским упоением бросаемое слово, под аккомпанемент которого я вылетел из стен ботаника-законника.

Доселе, по прошествии шестидесяти лет, не понимаю, каким образом согласовать этот достойный царского чиновника прием с тем ироническим суждением Тимирязева, когда на обращенное к нему недоумение одного английского ученого, его вопроса: «Да неужели Вы не понимаете всю вредность этого обилия экзаменов?» сидевший рядом Тимирязев возразил: «мы, профессора, отлично понимает, да не понимают те, от которых насаждение экзаменов зависит.!»

Такова была моя единственная встреча с Тимирязевым, на лекциях которого я, будучи студентом, скоро перестал бывать.

Талантливый писатель, мастер писанного слова, но невыносимый с кафедры, он никогда не мог похвастаться обширной аудиторией: произносимые то шепотком и с запинаниями, то словно «про себя» и с нескончаемым брюзжанием по адресу немецких физиологов, с которыми сам Тимирязев никогда не ладил, его лекции были невыразимо скучны и томительны.

Таков был главный претендент на мое место. Хорошо известный публике, как популяризатор Дарвинизма и своими выступлениями в либеральной прессе, но плохой оратор, и тем самым лектор, **Тимирязев** окружен был «нимбом», внешним ореолом «либерала» об оправданности какого-либо наименования можно заключить по только что рассказанному эпизоду.

Можно было без труда предвидеть, что после избрания этого заслуженного старца (Иванцов имел менее шансов на избрание) на мое место, мне не оставалось ничего другого, как уйти, забрав с собою свой Музей, который в обстановке частного собрания не мог конечно развиваться. Ибо, не говоря уже о помещении, о прекращении заработка в объеме ежемесячно до двух тысяч золотом, всецело ухившихся на закупку экзотических коллекций, получаемых от зарубежных фирм каковых **беспошлинно** возможно было только при адресовании посылок в адрес Высшего учебного Учреждения, каковыми в ту пору были и Высшие Женские Курсы.

Говоря иначе, над существованием молодого Дарвиновского Музея, молодым и полным жизни неокрепшим его корнем, был в ту пору занесен топор и от исхода конкурса зависела его дальнейшая судьба, само его дальнейшее существование, развитие и рост, или насильственная гибель.

Отвести этот «топор» дано было тогдашнему главе Зоологической Лаборатории и одному из наиболее влиятельных, авторитетных членов факультета, уже в ту пору самобытному ученому мирового ранга, Николаю Константиновичу **Кольцову**.

При поддержке лишь немногим менее влиятельного Члена Факультета, доктора наук, П. **Сушкина**, когда-то снаряжавшего меня 18-ти летнего мальчика-подростка в первую мою научную поездку в Юго-Западную Сибирь, а позднее, в бытность мою студентом предпринявшего научную поездку на Саяны (бывшую поводом вышеописанного столкновения с Тимирязевым!). — кандидатуры обоих старцев, Иванцова, как и Тимирязева, были отведены, сначала лишь «на время», а затем и окончательно.

Кафедра Дарвинизма была оставлена за мною и тем самым будущность моего Музея окончательно обеспечена.

И если Дарвиновскому Музею, вопреки всем нескончаемым трудностям (подлежащим описанию) дано будет развернуться в новом здании в учреждение абсолютно уникальное не только для Европы, но и мирового ранга, то не забудут будущие миллионы посетителей его, что сохранить, спасти Музей от угрожавшей ему гибели со стороны двух академических старцев удалось лишь благодаря защиты его в пору первых неокрепших лет двум крупнейшим ученым, и всего прежде самому талантливому из них, равно выдающемуся, как ученой, лектор и организатор, Николаю Константиновичу **Кольцову**, так безвременно, свиду нелепо, горестно погибшему и отдаленно не успевшему предельно выявить своих огромных дарований.

Справедливость требует добавить, что оставлением за мною моего курса Дарвинизма, а тем самым сохранением моего Музея я обязан был и факультету в целом, состоявшему из лиц, различных по достоинству их, как ученых, но, конечно, глубоко культурных, понимавших всю моральную недопустимость поступиться молодым сотрудником, уже однажды пострадавшим вынужденным оставлением Университета, ради преданности Женским Курсам. Несомненно, что решающую роль в этой позиции факультета выпала на долю незабвенного Директора Курсов, Сергея Алексеевича **Чаплыгина**.

Рассказывать о последующих годах, весьма значительных, частью решающих для моей жизни, а тем самым для Дарвиновского Музея — впредь до Великой нашей Революции, здесь не приходится, ни о моей встрече с моей верной спутницей на жизненном пути за время долгого полувековья, моей **Надеждой** (урожденной Н.Н. Ладыгиной) в 1910 году, ныне крупнейшим ученым мирового ранга; ни о «свадебном», голодном нашем путешествии в Ветлугу для прочтения Дарвинизма на Ветлужских Учительских Курсах, ни о заграничной нашей поездке для повторного знакомства моего с музеями Германии, Франции, Бельгии и Англии

и для закупки в зарубежных фирмах Англии и Германии Зоологических объектов для Музея, ни о передаче в дарственном порядке курсам моего Музея с обязательством оплаты вновь закупленных коллекций.

Часть этих фактов и событий моей личной жизни, — как всегда, неотделимых от судьбы и жизни моего Музея — были кратким образом мною изложена в других моих мемориальных записях.

Неупомянутым остались только теневые стороны моего двухлетнего заведывания препараторской фирмой Лоренца.

Осенью 1909 года умер Федор Карлович **Лоренц**, — замечательный натуралист-художник, автор ряда интереснейших статей и ценных книг, основанных на личном, частью долготлетнем изучении пернатой фауны Северного Кавказа и Московской Области.

Непревзойденный по искусству монтировки небольших зверей и птиц, достигши в этой области неподражаемого мастерства опередив в нем препараторов не только всей Европы, но и всего мира, **Лоренц** может почитаться с полным правом подлинным сооснователем Дарвиновского Музея.

Можно с полным основанием сказать: без Лоренца не было бы и Дарвиновского Музея и не только потому, что омерзительные продукции обычных препараторов (а было их в Москве не менее десятка) не могли бы вдохновить меня к созданию Музея из подобных «чучел», но и потому, что самые эти торговцы и препараторы не стали бы обслуживать меня, как мало состоятельного покупателя.

И только **Лоренц**, бывший всего менее «коммерсантом», мог так широко откликнуться на мою страсть музейца, за ничтожнейшую плату мне представляя замечательные образцы своего непревзойденного искусства с 1896 года.

Вопреки не столь уже преклонному возрасту (67 лет) **Лоренц** умер от припадка грудной жабы 13 Октября 1909 года, оставив не одни только обширные коллекции прекрасно им смонтированных Млекопитающих и Птиц, но и обученных годами опытных рабочих-препараторов.

За неимением достойных преемников, наследников большого дела угрожала прекращение его, тем самым прекращение работ для Дарвиновского Музея и распродажа частным лицам, преимущественно из охотничьей среды нескольких сотен ценных экспонатов, стоимость которых определялась в тысячах рублей.

При подобной ситуации и неимением требуемых средств (имевшиеся у меня заработки уходили на покупку экзотических коллекций от зарубежных фирм) не оставалось ничего другого как припомнить свой былой когда-то опыт по «набивки чучел» (удостоенных двумя серебряными медалями!) и взяться самому за руководство мастерской за «плату чучелами», ежемесячно мне отпускавшиеся по себестоимости.

В итоге уникальные коллекции, упорно собиравшиеся **Лоренцем** за долгие сорок лет, без денежных затрат, но не бескровно! стали достоянием Дарвиновского Музея.

Не бескровно! Ибо, не говоря уже о совершенно чуждом мне «коммерческом» обслуживании заказчиков из мира состоятельных охотников, мне приходилось то и дело слушать выражения желания заказчиц, глупейшие их пожелания, чтобы оскаленной головке на горжетке лисьей, или куньей, было придано возможно злое выражение (очевидно, в целях оттенения «ангельского» выражения лица владелицы).

Имелись, впрочем, и другие тягостные стороны моей решимости не дать погибнуть для Музея ценным сокровищам, оставшимся по смерти **Лоренца**.

Я разумею недовольство препараторов осиротевшей Лоренцевской мастерской, и в том числе квалифицированных мастеров мечтающих после смерти Лоренца самим возглавить фирму и, естественно, враждебно относившихся ко мне и моему неожиданному вмешательству.

Как бы то ни было, но те, которым приходилось видеть уникальные объекты, мною без затраты денег, приобретенные после смерти Лоренца, ни мало не догадывались об обидах и страданиях, которых стоило мне, как идейному работнику, двухлетнее «перевоплощение» в торгаша и коммерсанта.

В конце концов, конфликт между богиней мудрости Минервой, и античным покровителем коммерции — Гермесом, удалось уладить, пригласив самого талантливого из Лоренцевских препараторов на штатное место Дарвиновского Музея.

Лишенные самого лучшего работника оставшиеся мастера оставили надежду возглавлять собою фирму, а Музей в лице Ф.Е. Федулова приобрел ценнейшего сотрудника на многие десятки лет.

Нанявши небольшую комнату по близости от квартирнки, занимаемой нами, этот даровитейший художник-преparator стал работать исключительно для Дарвиновского Музея и десятки уникальных экспонатов были созданы именно в это время.

Рассказывать о всех последующих годах, предшествовавших нашей Революции — нет для меня особых оснований, часть потому, что наиболее существенные факты уже были мною и при том с достаточной подробностью изложены в других моих биографических записках, частью потому, что не касаются мотивов, выудивших, на закате моей жизни, взяться за перо.

Перехожу ко времени нашей Великой Революции.

Понять значение ее дано мне было далеко не сразу.

Никогда дотоле не интересуясь ни политикой, ни партиями, уйдя всецело в интересы моего Музея, я и Революцию смог воспринять и оценить лишь с точки зрения ее «борьбы за демократию», ее влияние на развитие нашей культуры, понимая под последней всего прежде, чтобы не сказать, единственно культуру в области **идейной** наглядной демократизации науки.

Для пояснения источников присущего мне с юных лет демократизма, должен указать, что им я целиком обязан моим музейным импульсам.

Едва освоив самые начальные приемы препараторского дела, я мальчонком лет 13-14 часами проводил свободное от школы время в захолустных подвалах, занимавшихся бедняками-чучельщиками, следя восторженно за их работой по набивке чучел воробьев и снегирей, позднее продаваемых за гроши на рынках.

Несколько позднее, лет 15-я приглашал к себе по Воскресеньям более опытного мастера-преparatorа из подмосковных крестьян, чтобы обучаться его нехитрому искусству за небольшую плату, помимо скромного угощения. И, конечно, ни один Метрд'отель не готовился с таким старанием к приему знатного гостя, как приготавливал скромную закуску с неизменным «жуликом» (четвертинкой водки) для моего учителя в препаровальном<sup>1</sup> деле.

Лишь едва знакомил с основными положениями Марксизма по общедоступным изложениям, я обязан позитивным отношением своим к тогдашней молодой Советской власти не брошюрам и не книгам, и не агитациям ее адептов, а живому представителю ее в лице большевика профессора-Астронома Павла Карловича **Штернберга**, долгие годы состоявшего профессором Московских Высших Женских Курсов, не подозревавших о такой партийности сочлена своей в лучшем случае «кадетски» ориентированной коллегии.

Высокий, плотный с энергическим лицом в оправе пышной черной шевелюры «Скандинавского Бога», **Штернберг** самим своим видом ярко выделялся от большинства своих коллег, не думавших что этому профессору-астроному дано будет, как говорилось тогда по Москве направить первые пушки по Кремлю, руководясь астрономическими вычислениями.

Не знаю, почему, но именно ко мне в ту пору скромному «Помощнику преподавателя», заведующему Музеем Женских Курсов, **Штернберг** относился очень дружелюбно с первых дней Октябрьской Революции. Привлекало ли его мое стремление и тяготение к популяризации Музея среди масс; угадывал ли он во мне подлинного демократа (каковым я несомненно был на самом деле..); чувствовал ли он мою идейную оторванность от замкнутой академической среды, но именно ко мне благоволение **Штернберга** было особенно заметно. Особенно это сказалось с той поры, когда осозная, что лишь при Советской власти мой Музей мог стать народным, массовым, а не одним лишь «Вузовским», я завязал сношение с тогдашним вновь основанным Комиссариатом Просвещения возглавлявшегося до приезда А.В. **Луначарского** именно **Штернбергом**.

Едва ли нужно говорить, как ценно было для меня осознать его благоволение ко мне, особенно, когда узнавшие об этом большинство моих коллег по «Курсам» встретило меня «в штыхы» и в том числе со

---

<sup>1</sup> Спросив однажды моего «Учителя» в препаровальном деле о его фамилии, и получив в ответ, что называют его «Грызлов» (очевидно за неуживчивый его характер), я, по окончании «курса препараторского искусства» преподнес ему серебряные часы (мною купленные на мои «карманные деньги», накопленные за долгие месяцы) с выгравированной на часовой крышке этого мало лестного имени, к большому огорчению владельца часов.

стороны позднее награжденных знаками отличия, в ту пору обращавшихся ко мне не без иронии: «Вы, при хороших отношениях на Крымской площади (где помещался в первое время Наркомпрос...) Вы „там“ скорее преуспеете!»

Но наступил, хотя не сразу, и, конечно, частью вынужденный переворот.

Осознавая, что симпатии к создававшемуся новому режиму легче обеспечить среди юных кадров, Наркомпрос распорядился удостоить званием «профессора» всех молодых ученых, обладающих определенным стажем и читающих самостоятельные курсы.

Как в избытке отвечающему этим требованиям звание профессора и было мне даровано Советской властью, при сочувственном отношении к этому профессора С.А. **Чаплыгина**, оставившего пост Директора Моск. Высш. Женск. Курсов, переименованных во II-ой Моск. Университет, позднее слитый с I-ым, находившимся на Моховой.

Но, как ни радостно было изжить 12 лет меня нервировавшего звания «Помощника Преподавателя», но, разумеется, не этот привязало меня к молодой тогда Советской власти, а широкая отзывчивость на нужды моего Музея.

То были — говорю я о трех первых незабвенных годах Советской власти, годах 1918- 1921. Подлинно-счастливые годы, счастливые дни! Впервые я почувствовал, что моим делом, делом моей жизни, подлинно интересуются, что у него есть защитники и покровители, готовые всегда откликнуться и дружеским поощрением, и действительно реальной помощью. С особой теплотой я вспоминаю Заместителя Научным Отделом Наркомпроса Вартана Тиграновича **Тер-Оганесова**, как и бывшее управление Музейным Отделом.

Но и самые «Верхи» тогдашнего Наркомпроса в лице А.В. **Луначарского**, его заместителя Михаила Николаевича **Покровского**, считавшегося вообще малодоступным и действительно обычно хмурого, но в отношении меня всегда готового к приему, были неизменно без труда доступны и готовыми к содействию.

Потребовались ли несколько миллионов (а при начинавшейся в те годы девальвации — миллионы были «ходовой монетой») для покупки пары редких попугаев для научных опытов намеченных моей женой, или для приобретения ценных экспонатов в ликвидируемых мастерских наглядных пособий; обращался ли я по вопросу забронирования от призыва в Армию ценнейших моих двух сотрудников, художники В.А. **Вагагина** и препаратора Ф.Е. **Федулова**, кавалериста, награжденного двумя «Георгиями» в боях с германцами (и это в годы, когда юная Советская Россия отбивалась от врагов на четырех фронтах!) — я никогда, ни разу не встречал отказа и что показательно всегда легко и быстро, без малейшей «канцелярской волокиты» мне даваемого...

Со справедливой гордостью я должен здесь отметить, что и сам я в меру своих сил (а было их достаточно, ибо рождало их то героическое время!) всей душой старался быть полезным молодой Советской власти, занимая до шести различных кафедр и должностей ввиду отъезда большинства ученых моих лет на юг, в искании спасения от тифа, холода и голода не говоря о поводах или мотивах менее почтенных!

Кроме кафедры Дарвинизма в Университете, в двух Пединститутах (Имени Н. Крупской и Латышском), кафедры Военно-Педагогической Академии, должности председателя Ест. Истор. Пединститута, здесь особенно надо отметить приглашение меня в Научные руководители, а позднее директором Московского Зоосада.

Именно последнему, Зоологическому Саду, было суждено сыграть решающую роль для моего Музея и — увы! — для самого меня.

Любимое, и в сущности единственное, полноценное и оправдавшее себя позднее детище бывшего Общества Акклиматизации Животных и Растений, Московский Зоосад, по ликвидации самого Общества и национализации своим, остался в положении «осиротевшего».

При господствовавшей о ту пору моде на «коллегиальность» управления, для заведывания Зоосадам намечена была особая «Коллегия» в составе трех лиц: профессора Ф. Рыбакова, в роли Председателя Коллегии, некоего Иванова, бывшего сотрудника научного отдела Наркомпроса — в качестве Заведующего хозяйственной частью Зоосада, и меня — на положении научного руководителя. Поскольку же Рыбаков и Иванов были всецело чужды Зоологии, фактическое управление Зоосадам находилось, в сущности, в моих руках.

Это мое избрание на пост пока лишь номинального директора Моск. Зоосада горячо поддерживалось как былым его директором, талантливым зоологом Ю.А. Белоголовым и профессором Г.А. Кожевниковым, бывшим, как и я одним из членов бывшей «Наблюдательной Комиссии», стоявшей близко к управлению Зоосадам.

Подлинно решающим избрания моего на пост фактического Директора Зоосада была отчасти незадолго до того опубликованная моя книга типа расширенного «Путеводителя», под названием «Жизнь Животных», элегантно свиду томик с массой иллюстраций, фотоснимков с зоосадских обитателей, зверей и птиц, с большим старанием мною сделанных при помощи «Зеркальной» фотокамеры.

Путеводитель этот, иллюстрированный не только фотоснимками с животных, имевшихся в то время в Зоопарке, но и перовыми зарисовками **Ватагина**, свидетельствовал о моей любви к животным и моей преданности Саду.

Очень показательно, что та же моя книга, лишь пятью годами позже посодествовала моему увольнению из Сада.

Но, об этом позже, а пока, именно летом 1919 года, привлечение мое к заведованию Зоосадам было для меня давно желанным случаем и местом применения моей исконной от рождения любви к животным, как и неожиданным источником исследовательской работы.

Но, увы! — на время только первой пары лет, до преждевременной кончины Рыбакова, человека, мягкого и все же сдерживавшего спекулятивные замашки третьего «сочлена» нашего «триумвирата». — Иванова.

Но не то, когда со смертью Рыбакова и ненахождением ему преемника все хозяйственное управление Зоосадам оказалось в бесконтрольной власти Иванова, оказавшегося самым беспардонным спекулянтом.

Говорить, однако, о всех дрязгах и нечистоплотностях творимых Ивановым здесь, конечно, не приходится, поскольку завершились они арестом моего «хозяйственника» органами «ЧК» (как сокращенно наименовалась грозная тогда «Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией»). Всей этой грустной эпопеи посвящена особая Бумага — донесение, мною поданная в тогдашний Наркомпрос, но что, всего обиднее, вся деятельность «Горе- Хозяйственника» Иванова пользовалась покровительством тогдашнего Заведующего Научным Отделом Наркомпроса, при открытом возмущении этим подлинным большевиком — Тер-Оганесовым и других.

Как бы то ни было, но «Ивановская» история лишь подтвердила давнюю истину, что основным условием успешности работ любого Учреждения являются не форма управления, не отпускаемые средства, не «проекты», лозунги и планы, а стоящие за ними **люди!**

И, однако, приглашенные на смену Иванову новые хозяйственники Зоосада, а сменять мне, как единовластному директору по смерти Рыбакова, приходилось раза три, оказывались еще более «спекулятивно-одаренными», чем Иванов и делали мой пост директора до крайности мучительным.

И все же мой уход из Зоосада был определен не спекулянтскими интригами, а таковыми, исходившими не без участия академических кругов.

Хотя вся неприглядная картина моего ухода из Зоологического Сада, мною до известной степени спасенного в тяжелые годы тифа, холода и голода подробнее уже была описана, я не могу не очертить, хотя бы вкратце, заключительный, последний акт моего тогдашнего «мученика».

Этот последний связан с появлением в Москве приехавшего с Юга, из Аскании, бывшего моего сослуживца, но Зоологической Лаборатории Женских Курсов, — **М.М. Завадовского**, даровитого зоолога, но крайне заносчивого, неуживчивого человека.

Эта неуживчивость, давно и хорошо известная Зоологам Москвы, сделала то, что по прибытии своем в Москву Михаил Михайлович нигде не мог устроиться, ни в Университете, ни в Тимирязевской С/Х Академии, ни в Университете имени Малявского, основанного этим замечательным общественным деятелем для изгнанных по произволу царского правительства профессоров Московского Университета.

Осложнялось дело тем, что вместе с Завадовским прибыла в Москву и временно томила на вокзале полусотня кур и петухов, точнее: полу-кур и полу-петухов, прооперированных в Аскании Завадовским в целях изучения влияния кастрации на внешне-половые признаки.

Противник всякой вивисекции и зная наперед, что всякое сближение с Завадовским может быть чревато по последствиям, я все же, правда, не без колебаний, счел своим моральным долгом облегчить его безвыходное положение, согласившись приютить его, как и его «курятник» в Зоосаде.

Безвозмездно были предоставлены ему просторная светлая комната и в полное распоряжение часть Лаборатории, дотоле занятой Ветеринарами, частью работами моей жены, Надежды Николаевны, по изучению поведения некоторых животных, в данном случае волчков и молодых собак.

Отчасти успокоенный признательностью Завадовского и сообщением его, что удаление половых желез у кур проходит безболезненно настолько, что во время операции птицы следят за пролетающими мухами, я постарался успокоиться сознанием, что из-за личных антипатий я не отказал в поддержке даровитому ученому.

Примерно около того же времени пришлось мне временно помочь двум молодым немецким коммунистам, сыновьям погибшего бывшего моего знакомого, владельца препараторской московской фирмы, Юлиуса Бланка, двух молодых людей, приехавших из Германии и также остро нуждавшихся в жилье.

Моя отзывчивость и в данном случае оказывалась «не по адресу».

Воспользовавшихся бесконечными конфликтами с моими «хозяйственниками», различавшимися лишь по степени их спекулятивных вожделий, я после одного из этих столкновений приглашен был в заседание какой-то неожиданной «Комиссии» будто назначенной в целях расследования хозяйственного управления Зоосадом.

Придя на «заседание» этой комиссии, я был не мало удивлен ее составом из всего трех лиц: двух мною пригетых юных немцев-коммунистов и какого-то мне неизвестного высокого субъекта с плоским, ничего не выражающим лицом, отрекомендовавшегося мне «профессором-зоологом» из Наркомпроса, по фамилии «Н».

Было глубоко очевидно, что к ревизии хозяйства эти три лица отношения никакого не имели, и что подлинным объектом их ревизии являлся сам Директор Зоосада. Также было, что приехавших столь незадолго из Германии двух юных немцев-коммунистов пригласили лишь для пополнения «Кворума».

Заслушав ряд упреков или обвинений, относившихся к «хозяйственному» управлению Зоосада, я имея целью перевести внимание на другую тему, мне более близкую, попутно показал свой некогда написанный «Путеводитель», послужив в свое время поводом для приглашения меня к управлению Зоосадом.

— «Вот именно этой книги вашей нам и надобно!» послышался довольный голос плосколицего профессора и с торжеством схвативши мою книгу он поспешно удалился, между тем как оба юных немца-коммуниста, приглашенные на положение «статистов», лишь конфузливо молчали, опустив глаза, когда я вопросительно глядел на них в надежде услышать намек на их «партийное» вмешательство.

Не оставалось ни малейшего сомнения, что вся эта пародия на некую «ревизию» была подстроена извне, и что итог ее был предрешен заранее.

Прошло не более пары дней и поступило предписание Наркомпроса об «Освобождении нас всех трех (меня, другого члена „коллегии“, некоего Фортунатова, весьма порядочного, но слабого, как человека, и „хозяйственника“ некоего Кубичека», как не сработавшихся в совместном управлении Зоосадом, от такового, поручив единоличное управление им, как и следовало ожидать М. Завадовскому.

Но прежде чем продолжить мой безрадостный рассказ о том, что воспоследовало за оставлением мною Зоосада, да будет мне позволено вернуться за несколько месяцев назад и описать несколько сцен сугубо водевильного характера.

Я разумею глубоко карикатурный образ моего последнего «хозяйственника» по Зоосаду, облегчившего для Наркомпроса подыскание мотивов для освобождения меня от управления Зоопарком, якобы за неумение «сработаться» с его хозяйственным отделом.

Но сработаться с субъектом типа Кубичека было более, чем затруднительно, как это явствует из нижеследующих примеров его «деятельности».

Начать с того, что, посетив меня в день назначения своего в моей квартирке при Музее, он начал с видом соболезнования: «Как плохо Вы живете!», реплика, внушившая мне тогда же опасение, что сам он, мой вновь назначенный «Хузяйственник» (как называл себя сам Кубичек, на первом месте озаботится устроиться менее «плохо»!

Опасения мои подтвердились слишком скоро.

Первым делом мой «хозяйственник» озаботился покупкой собственного экипажа в форме где-то приобретенного двухколесного английского «Кэба», остававшегося без покупателя за очевидной непригодностью для московских улиц.

Более симптоматичным оказался следующий эпизод.

По роковой случайности в день поступления нового «хузяйственника» на службу в зоосадской канцелярии случилась кража пишущей машинки, аппарата крайней ценности и ввиду все возрастающей уже в ту пору канцелярской переписки и неналоженности отечественного производства.

И казалось всего проще было бы обратиться к органам уголовного розыска, хорошо налаженного уже в те годы.

Несколько иначе поступил мой новый сослуживец.

Выждав ближайший Воскресный день (тем самым давши похитителям возможность «замести следы», он съездил на собачий рынок и купил за несколько миллионов небольшого куцега Бульдога.

День спустя было в глубоко-экстренном порядке созвано общее собрание сотрудников Зоопарка, на котором мой «хузяйственник» громогласно заявил, что дело о похищении пишущей машинки поручено вести... Бульдогу, обонянию которого нетрудно отыскать преступника, что лучше тут же на собрании откровенно и при всех признаться похитителю, иначе все равно бульдог его отыщет и сделает «Ам!» — пытался образно представить сцену обнаружения похитителя докладчик, что отчасти облегчалось его внешностью: приземистого курного краснощекого «пупса».

Едва ли нужно говорить, что вновь назначенный четвероногий «Шерлок Хольмс» не справился со своей задачей и напротив сам он исчез, ставши предметом похищения, не столько во внимание к его следовательским талантам, сколько в кулинарных целях: при катастрофическом тогдашнем голоде в Москве охота за собаками, как за съедобными объектами, практиковалась очень широко и вновь объявленный четвероногий «Шерлок-Хольмс» был вероятно съеден голодающими москвичами.

Менее водевильно и гораздо более трагичным оказалось следующее «мероприятие» моего «Хузяйственника».

В порыве мании к орнаментации построек Зоосада мой хозяйственник стал безгранично тратить деньги и, как полагалось о ту пору многими миллионами на ремонтные здания и на первом месте на устройство «Клуба» для сотрудников на месте «Детского Сада», помещавшегося с давних лет в особом и довольно чистом и обширном деревянном доме.

Детский Сад был ликвидирован и на его месте был устроен «Клуб», ценой затраты сотен тысяч, ушедших на ремонт и украшение этого вполне ненужного в ту пору учреждения, поскольку утомленный трудной и нервящей службой по уходу за зверями служащим было в то время не до клубных развлечений.

Но, как бы то ни было, «Клуб» был организован и объявлен именем тогдашнего наркома А.В. Луначарского.

С немалой помпой совершилось и открытие Клуба. Было послано приглашение ко дню открытия Луначарскому, который разумеется лишь ограничился присылкой формальной телеграммой.

Не смущаясь этим мой «хузяйственник» чувствовал себя героем дня, давал себя «качать» подвыпившим рабочим Сада, тщетно уговаривая меня подвергнуться этой малокультурной процедуре.

Но проходит пара дней после открытия пустующего клуба, наступает осень и на общем собрании всех служащих Зоологического Сада выступает мой «Хузяйственник» с докладом, начинавшегося со словами: «Товарищи, наше положение печально, нет у нас денег на дрова и на корма, овес и сено для животных!»

Хотя я предвидел эту катастрофу, но лишенный права вмешиваться в хозяйственную жизнь Сада, я втайне надеялся что Кубичеку, как коммунисту, как-нибудь удастся раздобыть необходимые кредиты, почему я только ограничился резонным замечанием, что не следовало столько денег тратить на покраску клеток и на устройство Клуба, пустовавшего со дня его торжественного открытия.

Укоры и упоминание о «Клубе» — этом видимо любимом детище моего «хозяйственника» вызвали гневную, но мало убедительную реплику:

— «Ви — против Клуба, Ви — против товарища Луночарского, Ви — против Суветской власти, ви — против III-его Интернационала! Ви — *уволены!*»

Нетрудно видеть, что сработаться с подобным параноиком было действительно довольно трудно!

Как ни горько было мне расстаться **таким образом** с питомцами Зоологического Сада, но само освобождение меня от Сада с его милыми животными, но зверовидными двуногими было глубоко спасительным, ибо сам я оставить самовольно пост директора в столь трудное время не решался. И в этом отношении я с благодарным чувством вспоминаю милого Федора Николаевича **Петрова**, возглавлявшего в те годы все касавшееся науки и музеев Наркомпроса.

Справедливость требует признать, что пятилетний мартиролог моего директорства в этом огромном ...допотливом учреждении идейно оправдал себя.

Десятки красочных картин и сотни зарисовок, сделанных Ватагиным с натуры, сотни опытов и наблюдений над различными животными, десятки опытов по скрещиванию различнейших животных (уток, кур, гусей, фазанов, голубей) дали возможность развернуть в моем Музее уникальный Подотдел Генетики — все это до известной степени было оплатой за мои старания спасти от гибели животных Зоосада в годы голода и холода. Невольно вспоминается, как приходилось лично мне вымалывать в Московском Продовольственном Отделе («МПО») зерно для «съевших» свои мышцы голубей, или отстаивать для прокормления львов и прочих хищных трупы лошадей, павших от голода и на снегу валявшихся по улицам Москвы...

Поскольку же ко времени замены меня Завадовским значительно улучшились экономические условия (при установке «НЭП'а») — мои настороженность и заботы о голодных узниках Зоологического Сада более не требовались — я оказался Саду более ненужным.

Но с тем большим рвением я мог вернуться к основной моей работе в Дарвиновском Музее.

И, казалось бы, что здесь меня могли бы более не беспокоить. Но на деле злые силы не оставили меня и здесь своим вниманием.

Не помню, сколько времени спустя по завершении «Зоосадской эпопеи», но однажды мне было доложено, что осмотреть мой Дарвиновский Музей пришли два «ревизора».

Выйдя к ним, я не без удивления, вернее говоря, не без досады, убедился, что один из них был «плосколицый» мой гонитель из Зоологического Сада. Его спутник был весьма достойный коммунист (забытый мною по фамилии) бывший и ранее в моем Музее, возглавляя практиковавшиеся тогда «Чистки», говоря культурнее: проверки <sup>2</sup> личного состава служащих, мера, действительно необходимая в то время вследствие «примазавшихся» в ту пору к учреждениям и даже к Партии не малого числа заведомых проходимцев. Справедливость требует сказать, что при предшествующих посещениях этот коммунист, по-видимо-

---

<sup>2</sup> Не могу попутно не припомнить любопытного примера проявления «активности» к подобным «чисткам» представителей так наз. «Общественности».

В целях выяснения этого «голоса общественности» был вывешен небольшой почтовый запирающийся ящик, для забрасывания в него частных отзывов о Дарвиновском Музее лицами из общества, или отдельных посетителей Музея.

Кдню, имеющему завершить «проверку» Дарвиновского Музея в ящике оказывалась лишь одна записка, разумеется без подписания. Корявым почерком стояли нацарапанными следующие слова:

— «Профессор-лектор оскорбил рабочий класс, он сказал о русских забастовщиках, что углекопы Рура не хотят работать, что они бездельники!»

Предлогом для такой глупейшей выдумки писавшего послужило мое образное — в целях оживления аудитории — брошенное слово при описании зачаточных, бездействующих пальцев на ногах ископаемых предков современной однопалой лошади: «эти зачаточные боковые пальцы — безработные, вечно „бастующие“!»

му, из рабочих, вел себя в высокой степени корректной власти, только с утверждением ее я в целях, лишь «приспособленческих» назвал Музей свой «Дарвиновским» и что, поместив эпитафией известное четверостишие, взятое у **Гете**, я тем самым думал показать в моем Музее — Бога!

Представляется непостижимым, как разбитый два раза параличом, старый ученый счел уместным и достойным, на краю могилы, на прощание «лягнуть» по моему имени и моему делу, с явной целью повредить мне на прощании с жизнью.

Всего легче было опровергнуть первую из инсинуаций, брошенную Тимирязевым: достаточно лишь процитировать признание крупнейшего зоолога и дарвиниста, бывшего директора Берлинского Зоологического Сада, профессора Людвига **Гекка**, посетившего Москву и мой Музей и написавшего мне в 1913 году:

— «Ваш Дарвиновский Музей — достойный удивления творение, особенно, если учесть, что оно является делом и силой средств единого лица: ничего равного ему здесь, в Германии, я не смог бы указать!»

— Берлин. 1913 года.

Достаточно взглянуть на угловые штампы моих писем, адресованных еще до 1913 года разным зарубежным фирмам и ученым, чтобы убедиться в грубой клевете, будто в «угоду» лишь Советской власти я присвоил моему Музею имя величайшего английского ученого.

Что же до обвинения меня в неверном толковании Гетевского четверостишья, то оно лишь головою выдает, что с мировоззрением **Гете** Тимирязев был знаком лишь по цитатам в популярных книжках **Геккеля**, которому инкриминируемая мне цитата из творений Веймарского мудреца не помешала быть самым бесспорным, убежденнейшим материалистом.

К счастью моему и моего Музея Тимирязевская клевета осталась «холостым зарядом» и не уменьшила тогдашнего ко мне доверия Советской власти, в большей своей части старых, образованных большевиков, умевших разбираться в людях и ценить немногих беспартийных подлинных им преданных интеллигентов.

Но не то, когда для «маргаринового» оправдания снятия меня с поста Директора Зоологического Сада выдвинули обвинение меня в «Антидарвинизме».. Действительные мотивы освобождения директорского поста — желание Завадовского самому сесть на мое место — было — было зашито «белыми нитками», как и роль приятеля его, «плосколицего профессора» в роли «академического вышибалы»..

Но вторичное появление последнего на сцене, уже не Зоосада, а Дарвиновского Музея ничего хорошего не предвещало.

Будучи расстроен неожиданным вторичным появлением «академического вышибалы» я предоставил демонстрацию своего Музея моей Надежде Николаевне, а сам, не выходя в Музей, в тревоге начал выжидать ухода непрошенных гостей, отлично сознавая, что исход «налетов» сходного характера, обычно предreshен заранее, тем более, что, выражаясь языком из Гетевского Фауста, «лошадиное копыта Мефистофеля» достаточно наглядно выступало в ссылке Завадовского на мой так называемый «Антидарвинизм».

И если для успеха выхлопывания кормов, пшеница для голубей и дохлых лошадей для хищных Зоосада сомнения во мне, как «Дарвинисте» были беспредметны, то не то по отношению к «Директору Дарвиновского Музея».

Но по счастью «Начальником» научного Отдела Наркомпроса состоял все тот же старый большевик Ф.Н. **Петров** и результат «налета» на мое идейное создание, мой Музей, был для него благоприятных, что, как мы сейчас увидим, далеко не значило, что наступила для него спокойная пора работы.

Некоей «прелюдией» к последующим «наскокам» на Музей явился неожиданный звонок по телефону директора одного претенциозного, но скромного естественно-научного Музея школьного типа.

Сущность телефонного сообщения сводилась к тому, что имеющаяся в моем Музее пластическая реконструкция фигуры вымершего «Гейдельбергского Человека» неверно мною поясняется, а именно, не как «Обезьяно-Человек», а лишь как примитивнейший из ископаемых людей.

На возражение мое, что «Гейдельбержец» мог уже изготавливать орудия, что недоступно обезьянам, и что толкование мое созвучно существующим воззрениям в зарубежной, ведущей Палеоантропологии, последовал ответ, что эти пояснения недостаточны, что «делу» будет дан законный (!) ход и что единственное,

что способно приостановить его — это ... уступка, т.е. передача названной скульптуры Музею, возглавляемому телефонным собеседником, в целях «более научного» ее показа.

До сих пор не понимаю, как мембрана телефона, и как самые провода его не лопнули от столь циничного, бессовестного предложения. Назвав его по имени, т.е. шантажом и грубейшим вымогательством, я бросил трубку телефона, недоумевая, как возможно человеку, сопричастному, хотя бы не к науке, а лишь наукообразным знаниям, унизиться до положения «академического шантажиста».

Но описанный здесь инцидент был лишь невинной предварительной «прелюдией».

Проходит пара лет и на академической арене появилось новое и мало симпатичное лицо, на этот раз за счет «германского экспорта».

Как немецкий коммунист, участник «Веймарских событий» и причастный к жизни Высшей Школы вновь прибывший свиду был типичнейшим немецким «буршем», в одеянии которого только обмотки на ногах носили отпечаток некоего «демократизма».

Как биолог по образованию Макс Левин (так именовался вновь прибывший) получает звание профессора в московском Университете и считает своим долгом уделить внимание и Дарвиновскому Музею.

Подобрав подобие «коллегии» (среди намеченного состава общеуважаемый Директор Зоомузея МГУ, профессор С.С. **Туров**, разумеется, не принял приглашения..) в лице директора Музея Антропологии, ныне покойного Плисецкого и незадолго до того вернувшегося из Америки Алпатова, Макс Левин появился в роли очередного «ревизора» Дарвиновского Музея.

Чувствуя заранее тенденциозность намечаемой «ревизии», поскольку двое ревизующих были бесспорно инспирированы третьим (именно, Плисецким, одноздно относившимся ко мне под маской напускной корректности) я от себя счел нужным пригласить для пополнения состава ревизующих моего давнего ученика и преданного мне профессора московского Университета, автора замечательных трудов по Зоологии, Николая Алексеевича **Бобринского**.

При всем желании моем скорее позабыть о той пародии на критику, что развернулась в продолжении последующих дней, я вынужден сказать, что эти дни явились для меня самыми тяжкими и оскорбительными в моей жизни, уступая, правда, еще более гнетущим, ожидавшим меня в будущем.

Достаточно сказать, что ни малейшего «живого места» не было оставлено от уничтожающей и поголовной критики, вернее от сплошного критиканства, издевательства над делом моей жизни, над моим Музеем, на создание которого ушла вся моя молодость ценою жертв, неведомых, незримых никому.

Напрасно милый **Бобринский** парировал все бесконечные нападки в совершенстве спевшихся Плисецкого и Левина, при молчаливом соучастии Алпатова; напрасно сам я, сознавая многие несовершенства экспозиции, всецело вызванные временностью помещения, указывал на объективные причины их, от моего тридцатилетнего труда «камни на камни» не осталось по оценке моих «горе-ревизоров», на который двое вообще дотоле не были в Музее, а один — Плисецкий был заранее предвзятым.

Очень показательно, что после окончания этой пародии на «ревизию» и составления (Левиним) позорнейшего «Протокола» подписал его один лишь Левин: в такой мере содержание этого «документа» оказалось скандальным даже для не слишком щепетильного Плисецкого и тяготевшего к нему Алпатова.

Так завершилась эта неизвестно кем и для чего затеянная скандальная «ревизия», по-видимому, лишь во славу «Критики и Самокритики» этого лозунга, быть может и полезного в принципе, но руками и умом порядочных людей, а не заведомых сутяг и интриганов.

Знаменательно, что по прошествии немногих месяцев Макс Левин был разоблачен как «Враг Народа» и расстрелян по постановлению Военного трибунала.

Но, увы! этим финалом не закончился мой личный мартиролог и тем самым таковой и моего Музея! А в сравнение с последующим идейным «кровопусканием» Левинская «ревизия» была лишь жалкою кустарщиной.

Проходит пара месяцев, как появляется в Музее новая особа, тоже в целях если же ревизии, то для «ознакомления»: грузная, широкоплечая фигура с видом мастера-рабочего и разумеется партийная.

Поверхностно и бегло осмотрев Музей, ничем не выразив признания или неудовольствия, мой грузный гость исчез также безгласно, как неожиданным был появление его.

Проходит снова пара дней и получаю извещение, что назначается в «Доме Ученых» смотр всех музеев, в частности Биологических и в том числе и Дарвиновского Музея.

К установленному времени мы оба, — я с моей Надеждой Николаевной приходим в Дом Ученых и находим там, помимо многочисленных музейцев — целую Выставку развешенных по стенам фотографии, диаграмм, наглядно поясняющих работу и посещаемость музеев.

Очень показательно, что о желательности получения таких графических наглядных материалов и от Дарвиновского Музея мне при извещении о предстоящем «Смотре» ничего не говорилось с очевидной целью и намерением поставить мой Музей в сравнительно менее выгодное положение.

Уместно здесь попутно указать, что днем спустя такая Выставка, по качеству превосходившая все остальные, мною была срочно организована, на что потребовалась целая ночь работы (моего ныне покойного милого и даровитейшего столяра Ивана Платоновича Суворова, о котором я доселе вспоминаю с теплым чувством величайшей благодарности!)

Важнее был состав Президиума, состоявшего помимо бледного и апатичного Начальника Музейного Отдела Наркомпроса из «Трех Парок»: Некоей Фрумкиной (позднее вскорости понявшей ложность своей миссии, моей бывшей когда-то слушательницы по Высшим Женским Курсам, некоей Кирилловой, одной преподавательницы Гос. Пединститута, и — увы! — недавнего моего посетителя — Юровского! Такой состав не мог внушать особого оптимизма.

Но, однако, то, что воспоследовало в этот вечер трудно передать культурными словами: в такой мере некультурными, вернее оскорбительными, унижительными для культуры были выпады Кирилловой и Юровского, собою возглавлявших весь Президиум.

Нет того смертного греха, который бы не приписали Дарвиновскому Музею и мне лично, как его руководителю. За явной, очевидной неспособностью подметить подлинные недостатки, несомненно существующие и поныне и в широкой мере обусловленные объективными причинами, несовершенством помещения и витража, все удары по Музею концентрировались на его «Анти-Марксизме», для упрека в каком-то не требовалось ни малейшей эрудиции или конкретного обоснования.

Чтобы дать понятие о низкопробности упреков и об уровне культуры восседавших за столом Президиума, стоит только привести насмешливое, ироническое замечание Юровского, сказавшего, что нечего и ожидать чего-либо достойного в научном отношении от лиц, которые доселе... носят кольца обручальные.

Этого хамского упрека было бы достаточно, чтобы взяв слово, обратиться к сыщику по линии ношения «колец венчальных» с требованием: немедленно изъять из обращения последней, изданной еще при жизни Тимирязева громоздкой книги («Наука и Демократия»), в которой автор книги, старый Тимирязев, фигурирует на фотографии со столь компрометирующим званием ученого «кольцом венчальным» на руке!

А что до моего кольца — пришлось мне ограничиться сказать, на положении «подсудимого», то его нет, лишь потому, что потонуло оно в мерзлой жидкой глине, мною лично разводимой сведенным от холода руками в мерзлой, голодающей столице для изготовления скульптур для Дарвиновского Музея!

Вся аудитория была не мало смущена такой невероятной грубостью и тупостью Юровского, что помешало между прочим только одному Плисецкому, сидевшему среди собрания бросить (и конечно только лично от себя!) открытый вызов, чтобы после окончания обсуждения (?) были сделаны по отношению к Дарвиновскому Музею «организационные выводы», т.е. называя вещи своим именем, чтобы я был снят с поста директора мною всецело созданного учреждения.

С особой агрессивностью, однако, выступила моя «горе-ученица» по Моск. Высш. Женским Курсам (и едва ли кончившая их **Кириллова**. Характерная по наружности, приземистая, стриженная, мужеподобная, с клюкой в руке и бородавкой на щеке, она вполне могла быть прототипом тех карикатур, что некогда воспеты были нашим национальнейшим поэтом, А.К. **Толстым** в его «Потоке-Богатыре».

— «А знаете ли вы — раздался явно провокационный и многозначительный вопрос направленный ко мне из злобных уст моей бывшей когда-то „Горе-Ученицы“, знаете ли вы, что есть у нас профессора — „Антропософы“?»

То была «сильная доза», выражаясь языком врачей и фармацевтов, доза, вынужденно мною проглоченная молчаливо с деланным непониманием.

С талантом подлинного сыщика Кириловой по-видимому удалось «пронюхать» о моем былом довольно близком отношении к былому много лет тому назад московскому «Кружку Антрософов», ветви Теосовского движения, вполне аполитичного, и охватившего когда то широчайшие круги Америки и Зап. Европы в том числе людей высокой нравственной и умственной культуры.

Сущность этого движения заключалась в применении к культуре Западной Европы некоторых исконных положений древней философии Индийского народа, положений, позже затемненных наслоением грубейших изуверств и предрассудков.

Следуя основному правилу натуралистов — руководствоваться всего прежде фактами и личным опытом, а не сведениями из «третьих рук», я лично, только испытал на своем личном опыте (подобно некогда и знаменитому **Эрнсту фон Бэру**) обоснованность отдельных утверждений теософов, счел возможным отнестись серьезно к этому движению. Так в частности я с благодарностью воспринял требование (не абсолютно обязательное!) **вегетарианства**, отвечающего моей с детства привитой любви к животным, и отчасти объясняющего то, что по мнению врачей я потому лишь сохранил в моем преклонном возрасте (80 лет!) способности и силы продолжать мою научную работу, выступать с речами на ответственных заседаниях и как добавлю от себя, уметь разбираться в людях, отличать добропорядочных людей от интриганов и любителей нашоптаний и доносов.

Как бы то ни было, но объявлять зловерными или высмеивать исходные положения всей индийской философии (ныне нам дружественного народа), положения, за которыми даже столь трезвый и многосторонний ум, как величайший дарвинисто минувшего столетия, **Томаса Генри Хаксли** признавал полное право на **научное** основание<sup>3</sup>, можно только до предвзятости или невежеству.

И, тем не менее, поднять мне брошенную с «вызовом» — «перчатку» я не мог, отлично понимая, что для этого не время и не место, и что силы наши неравны. В противном случае достаточно мне было бы ответить, что «профессору-антрософу» все же удалось создание на голом месте учреждения мирового ранга, не в пример бесплодию ее самой Кириловой, усердно выступавшей лишь по линии «богоборчества», с успехом, о котором можно хорошо судить по следующему эпизоду.

Помню небольшую аудиторию, чуть ли не в том же пресловутом «Доме Ученых». За столом Президиума только две фигуры: в роли «Председателя» — безызвестный юноша-подросток в ученической серой курточке, подпоясанной ремнем и рядом уже бородатый человек типа рядового педагога Средней школы (а на деле оказавшимся доцентом-химиком какого-то технического Вуза.

Жиденькая по количеству и по составу аудитория, собравшаяся «экс оффицио» на это «Совещание», со званное по почину той же «бого- борщицы» — Кириловой.

Не помню выступления «Председателя»-подростка в серой куртке, но тем лучше двух ораторов, Кириловой и Химика.

С дрожащим в гневе голосом Кирилова поведала во всеуслышание собравшимся, что в Дарвиновском музее на вопросы посетителей «о Боге» и существовании его, экскурсовод ответил, что суждение об этом — дело личное, решаемое человеком в меру полученного им воспитания и что всего серьезнее этот вопрос решается для человека в его смертный час!

Едва ли нужно говорить, что и на этот раз я вынужден был молчать, как, молча, выслушала это «обвинение» и едва ли разделявшая его аудитория.

Тем любопытнее и поучительнее было выступление химика, имевшее по-видимому целью — «сгладить» выступление Кириловой и ее ссылку на отсталость Дарвиновского Музея в деле «бого-борчества».

— «Позвольте мне вам рассказать, как борется с религией наша химическая Лаборатория! Узнав о посещении церкви нашим стариком-служителем, обязанность которого мыть химической посуды, я призвал его к себе, чтобы спросить его: как он считает совместимым службу (и при этом долготелную) в химической Лаборатории (т.е. мыть химической посуды...) с посещением церкви и служением „мракобесию“?»

---

<sup>3</sup> см. его «Эволюция и Этика»

«Вот, как — закончил торжествующе-самодовольно химик выступление свое, вот как мы боремся с религией!».

Действительно, уничтожающая отповедь! То, что считали совместимым для себя и мировых своим открытий величайшие умы, создатели химической или физической науки гения Галиллея, Кеплера, Коперника и Ньютона (из химиков сейчас не привожу, но их конечно можно привести не мало!) — то объявлялось в качестве несовместимым для уборщика химической Лаборатории, мытья химической посуды, для двадцатого столетия!

А в заключение этого предельно-водевильного собрания, имевшего своей задачей — насадить среди ученых богоберческие вдохновения, послышалось победное, ликующее заключительное слово возглавлявшей все собрание Кирилловой:

— «Теперь, надеюсь, уже никто не будет относиться так легко к вопросу о борьбе науки с религиозным предрассудком!»

Воистину, «диффициле ест сатирам мом скркбере!»<sup>4</sup>

Все вместе взятое — возвращаясь к прерванному рассказу о «Музейном Смотре в Доме Ученых» эта явная предвзятость отношения к Дарвиновскому Музею и его создателю, эта неслыханная для культуры всего мира, беспримерная по глупости манера расценивать заслуги и достоинства ученых по наличию у них на пальце «брачного кольца», настолько возмутило сидевшую со мною рядом Надежду Николаевну, что, не дождавшись окончания позорного собрания, жена моя, всегда столь сдержанная и скромная, при выходе обоих нас из зала с такой силой громыхнула за собою дверью, что созвучно ее гневу зазвенели окна всего здания и подобно взрыву бомбы прозвучало на весь дом, словно в насмешку, именованный «Домом Ученых».

И не удивительно, что только после этого «Ученого собрания» я лучше понял анекдот о модном некогда поэте **Фете**, столь невзлюбившем оказавшийся в эпоху «Николая — Палкина» московский Университет, что проезжая мимо его здания, он всякий раз приказывал своему кучеру остановиться, чтобы, выйдя из экипажа и проделав знак неуважения по адресу столь нелюбимого им здания, продолжить путь, что этот ритуал настолько регулярно повторялся, что позднее сама лошадь, проезжая мимо здания Университета, останавливалась по привычке.

И, однако, все доселе упомянутые нарекания и наскоки на меня, и мой Музей были довольно «мелкотравчаты» поскольку все они производились частным образом, кустарно, и по личной инициативе некоторых завистников и интриганов.

У правительственных органов, у Наркомпроса, а позднее Министерства Просвещения, налеты эти не встречали никакой поддержки, и за вычетом описанного эпизода с Зоосадам, Наркомпрос и Министерство оставались в стороне от этих нескончаемых интриг. И даже более того, за вычетом немногих управителей музейными делами, как вполне заслуживающий забвения **Луппол**, благодушного, инертного свидетеля позорного собрания в «Доме Ученых» — большинство начальников «Музейного Отдела», как покойный Феликс Кон, не говоря о милом Федоре Николаевиче **Петрове**<sup>5</sup>, относились к моей деятельности вполне сочувственно.

Но дело изменилось коренным путем, когда на пост «Начальника Музейного Отдела Министерства Просвещения» назначено было новое лицо, решившее взять на себя последний росчерк под моим «музейным Мартирологом».

---

<sup>4</sup> Во избежание недоразумения, почитаю долгом указать, что относясь издавна более, чем сдержано, а частью и глубоко отрицательно ко всем церковным вероисповеданиям (особенно к католическому!) я все же затруднился бы причислить к «мракобесам» **Шиллера**, на вопрос спросившего его, «К какому вероисповеданию он себя причисляет?» — Ответившего: — «Ни к одному!» — «А почему?» — «Из-за моей религиозности!»

<sup>5</sup> К огорчению моему и призапамятовал фамилию (начиналась она помнится с буквы «М», одного из множества этих «начальников» (сменявшихся необычайно часто!), поразившего меня своим необычайно деликатным отношением ко мне и моему Музею.

Пожилый и, видимо, болезненный, он при моем первом посещении его, на мою просьбу посетить мой Дарвиновский Музей, ответил:

— «В первую очередь стараемся мы побывать в музеях, мало совершенных и особенно нуждающихся в помощи. Ваш Дарвиновский Музей настолько хорошо известен мне с хорошей стороны, что в никакой срочной проверке, а тем более ревизии он не нуждается».

Решив представиться моему новому «начальству», я в сопровождении моего бухгалтера, немолодой уже женщины, старательной и добросовестной за время ее долгой службы в Дарвиновском Музее прибыл к новому начальнику, и в ожидания приема углубился в чтение «Стенной Газеты», вывешенной, очевидно, с целью назидания просителей, для приобщения их к принципам управления и обращения нового Начальства.

А принципы эти были прямо умилительны! Упоминалось в них об обязательном внимании к просьбам и потребностям просителей, о подлинно-гуманном и товарищеском обращении с ними, о всемерной помощи, отзывчивости в важном деле массового просвещения.

Вдохновленный этими благими мыслями и назиданиями, отражавшими, конечно, убеждения и принципы управления нового начальника, я с нетерпением ждал открытия дверей в его приемную.

Дверь отворилась и войдя в довольно тесный кабинет, я увидел сидящим за столом высокого, сухого и седого старика с лицом заправского чиновника и бюрократа с двойной польской фамилией. (Р.-З.)

Сухо поздоровавшись со мной, едва услышав, что являюсь я не только лишь директором, но основателем Дарвиновского Музея мой новый «принципал» начальническим тоном запросил меня:

— «А вам известно, что в Москве имеются музеи с богатейшими коллекциями бабочек со всего света, но который не показывают посетителям?»

Не мало озадаченный таким приемом, я в самом вопросе тотчас же узнал знакомое мне «лошадиное копыто Мефистофеля», короче — злостное влияние братьев Завадовских, Михаила и Бориса, из которых именно последний, будучи директором довольно скромного московского Музея школьного типа, явно и давно завидовал богатству Дарвиновского Музея.

Отпарировать вопрос «начальства», головою выдававший полное невежество его в музейной практике, не представляло ни малейшего труда моим простым лишь замечанием, что если бы ценнейшие и уникальные собрания тропических чешуекрылых выставлять на обозрение и выцветание широкой публике, то этого директора следовало бы предать суду за явное вредительство.

Получив должную отповедь, начальник мой обрушился на моего бухгалтера, весьма прозрачно намекнув, что он подозревает ее в присвоении доверенных ей казенных денег.

Бедная моя Вера Николаевна, честнейшая из честных, лишь конфузилась, не делая попыток оправдания в приписываемых ей уголовных преступлениях, каковые я, конечно, поспешил всецело отвести, как ни на чем решительно не основанные.

Таков был первый, неожиданный дебют моего нового «Начальника», сидевшего спиной к стене, на тыльной стороне которой красовались столь высокие, гуманные принципы управления и обращения с посетителями.<sup>6</sup>

Пытаясь все же пробудить в моем «Горе-Начальнике» подобие гуманности в оценке и суждении о деятелях культуры, я послал этой двуликой креатуре, столь гуманной на стенной газете, и столь грубой при общении с людьми, ему к тому же «подчиненных»! — небольшой мой очерк, посвященный моему покойному учителю,

---

<sup>6</sup> Как не вспомнить здесь куплеты о былом когда-то «филантропе», изживавшемся в гуманных назиданиях и «гнавшего в шею» всех несчастных, обращавшихся к нему:

«Он писал, что неимущим строить надобно приюты,  
«Отдавать последний грош свой, не задумавшись минутой,  
Что бедняк страдает вечно, что удел его ужасен,  
И что тот, кто помогает, сердцем чист, душой прекрасен!»

А когда два нищих оказались под окном того же филантропа, то по его приказу

«В шею нищенок прогнали, филантропу же чудесный,  
превосходный ужин дали..»

Но не трудно видеть, что поскольку между филантропом и пришедшей парой нищих не было служебных отношений, ситуация нас двух, меня и моего бухгалтера, была неизмеримо хуже!

профессору М.А. **Мензбиру**, краткий, но тепло мною написанный некролог (в издании Академии Наук СССР).

При ближайшей встрече, в том же кабинете, мой «начальник» тем же хриплым и брюзжащим генеральским голосом мне заявил, что мой некролог никуда не годен и совсем не отражает облика покойного.

Хотя за сорок лет моего тесного общения с Мензбиром я вероятно больше, лучше его знал, чем мой брюзжащий критик, о котором я ни разу не слышал от Мензбира, но по-видимому мой «Начальник» понял присланный ему некролог, как намек, поскольку я попутно указал в своей статье, что после первых «тульских» сборов **Мензбир** не касался более ружья, как никогда он не курил, чего не мог понять мой незадачливый «Начальник» — страстный охотник и курильщик!

Как бы то ни было, новом «управителе», «начальнике Музейного Отдела Министерства Просвещения» я приобрел заведомого недоброжелателя, при том **ни разу не бывавшего в моем Музее** и свое суждение о нем составившего лишь на основании «нашептывания»<sup>7</sup> моих завистников-недоброжелателей.

Но апогеем гнусного влияния нашептывания явилось общее собрание музейцев и работников, подведомственных Министерству Просвещения, созванное в обширной аудитории им занимаемого здания.

Не помню о повестке дня означенного «совещания», но помню хорошо, что в центре обсуждения и вводного доклада председателя собрания, — увы! того же моего «Горе-начальника» (Р-З.) был избран им все тот же Дарвиновский Музей.

В каких только грехах не упрекался я и мой Музей: и в «Замкнутости», недоступности для массового посетителя, и в неимении этикетажа, и в избегании популяризации Музея помощью печати, и в сокрытии от посетителей всех более ценных экспонатов, словом, не было проступка, даже «преступления», которого бы не приписали Музею мой неразборчивый и явно инспирированный критик, **сам ни разу не выдавший Дарвиновского Музея** и имевший смелость (говоря точнее: наглость!) говоря точнее: клеветать!) об учреждении мирового ранга и в присутствии его создателя.

На каждой из этих обвинений и наветов я, конечно, мог бы дать исчерпывающие отводы, опираясь на полумиллионные восторженные отзывы самих музейных посетителей и апробации крупнейших мировых ученых зарубежных стран, на незадолго перед тем законченные 10-летние статистические обработки отзывов, полученных от посетителей всех существующих в Москве музеев и доказывавших, что вопреки всем малосовершенным временным условиям помещения и витража, мой Музей — занял одно из самых первых мест в Москве по **качественной оценке** посетителей, опередив даже жемчужину Москвы — я разумею Галерею Третьякова....

Но оспаривать предвзятость и невежество казалось мало продуктивным, а поскольку исходили они все же от «начальства» и небезопасным: скандальный результат подобной же предвзятости, приведшей к моему уходу из Зоопарка не был мною позабыт!

И только, когда с кафедры мой никогда, ни разу не бывавший в Дарвиновском Музее незадачливый «начальствующий» «горе-критик» заявил, что он намерен предпринять ряд «мер» по отношению ко мне, а именно, вначале уговоры и увещания, а затем при помощи общественности и печати, я, не бывши в состоянии выслушивать такую бездну глупостей и оскорблений, встал и покинул зал с его огромной и недоумевающей аудиторией.

Громаднейшее большинство ее отлично знало подлинную ценность Дарвиновского Музея, как и отношение к нему всех посетителей его и, вероятно, чувствовало «закулисные» мотивы этой безответственной, непостижимой брани.

Так закончилось это скандальное, на базе грубого невежества, нашептывания и клеветы затеянное «обсуждение».

---

<sup>7</sup> Помнится, за годы «недоброй памяти» свирепого управления Музейным Отделом Наркомпроса среди зоологов-музейцев циркулировал анекдот, будто на Чистых Прудах (где помещался Наркомпрос) объявился старый Оранг-Утан, который по временам, в ярости потрясает жерди своей клетки..

Сравнение — неудачное, поскольку подлинный зоопарковский Оранг-Утан, как всякий антропоид несравненно интереснее, а главное: менее вредоносен!

Но счастью, у моего нового «начальства» — руки оказались «коротки», что в совершенстве обнаружилось несколькими днями позже, когда Дарвиновский Музей порадован был посещением самого Министра А.С. **Бубнова** в сопровождении того же грустного «начальства» (Р-З).

Милый, дорогой Андрей Сергеевич! При всей его наружной сдержанности (как известно в первые дни нашей Революции он стоял близко к Красной Армии..), он, как все старые большевики, был глубоко-культурен, и, не будучи биологом, прекрасно разбирался и в биологической науке в роли комиссара, а позднее, и Министра Просвещения.

Но тем поразительнее был метаморфоз, постигший его спутника. В подтверждение известной поговорки «Молодец против овец, а против молодца — и сам овца», столь гордый и надменный до того «начальник», следуя за Бубновым, «обмяк», словно согнулся, сгорбился, хотя не преминул при входе в первый зал Музея бросить иронического: «Ну, хвалитесь!».

«Да и есть, чем похвалиться!» возразил стоявший тот же давний мой сотрудник-препаратор-Орденосец, подлинный создатель тысячей уникальных экспонатов Дарвиновского Музея, ныне тяжело страдающего от полувекowego оперирования с мышьячными растворами для отравления звериных шкур.<sup>8</sup>

Едва ли нужно говорить, что после окончания осмотра и прощаясь А.С. **Бубнов** при конфузливом и гробовом молчании подчиненного ему «Начальника Музейным Отделом», выразил полное, безоговорочное одобрение всем виденным, что подтвердилось им немного позже, когда на очередное посягательство на мой Музей, на предложение «объединить» его с Музеем им. Тимирязева и небольшим другим музеем школьного характера А.С. **Бубнов** поставил резолюцию:

— «Категорически возражаю. Дарвиновский Музей — ценнейшее культурное учреждение мирового ранга, должно оставить в положении самостоятельном!»

— А. **Бубнов**.

Милый, дорогой Андрей Сергеевич! Один из тех немногих оставшихся тогда в живых с Великого Октября старых большевиков, так изумительно умевших разбираться в учреждениях и людях! Память о Наркоме, а позднее подлинном министре (как «Слуге Народа») **Андрее Сергеевиче Бубнове** навеки сохранится в анналах Дарвиновского Музея с чувством глубочайшей благодарности!

Что же до недоброй памяти, по счастью кратковременного «начальника музейного Отдела Наркомпроса», то освобожденному вскорости от должности и вышедшему на пенсию носителю двойной польской фамилии (Р-З) осталась полная возможность и досуг усвоить основные лозунги культурного советского работника;

«Чуткость и отзывчивость должна быть неотъемлемым качеством всех работников советского аппарата, всех наших учреждений и организаций»

— (Известия от 29 Января 1955 г)

Агрессивностью недоброй памяти бывшего «горе-начальника» Музейного отдела Наркомпроса против Дарвиновского Музея, агрессивностью всецело инспирированной парой интриганов и завистников закончились все более серьезные наскоки на меня и дело моего музея.

Усугубляющим, или, напротив, умаляющим преступность этих, нескончаемых налетов, критиканств, наскоков и ревизий не дававших мне покоя и нервировавших персонал Музея было то, что сами «горе-критики» и ревизоры даже не догадывались часто о зловредности своей работы, будучи уверены, что руководятся они принципом «Критики и Самокритики» на благо и на процветание родной культуры. А, что это так, показывает следующий эпизод.

Проведав о готовящемся новом «покушении» на Дарвиновский Музей и на меня со стороны все той же группки моих недругов, я спохватился во время, сообразив, что день, намеченный для проведения очередного (которого по счету?!) смотра Дарвиновского Музея, совпадает с полустолетием его основания мною (1896-1946). Этим самым критиканам поневоле приходилось заменить очередной «разнос» Музея — его «чествованием.»

К назначенному часу собралось в Музее несколько десятков лиц и в большей своей части — давних уважаемых сотрудников и подлинных друзей его, среди которых группка «критиканов» совершенно затерялась.

---

<sup>8</sup> Филиппа Евтихиевича **Федулова**.

Но тем самым неожиданно придав очередной задуманной «ревизии» характер «юбилейный», я отнял остроту зубов у моих критиков, заставив их сменить тон «критиканов» на единственно уместный, вынужденно — «хвалебный».

Что подобная «хвала» по принуждению могла быть в лучшем случае лишь «кисло-сладкой» подтвердилась крайне неумелым выступлением той же Кириловой, всегда столь щедрой на слова упреков, но скупой на выражения хвалы и поощрения.

Затрудняясь, видимо, отметить подлинные достижения Дарвиновского Музея за истекшие полвека, эта бойкая обычно в выступлениях своих ораторша на этот раз не нашла ничего лучшего, и убедительного для характеристики меня, как привести один давно мною забытый эпизод, имеющий в глазах Кириловой аттестовать меня, не как ученого и музеолога, не как общественника, лично обслужившего многие сотни тысяч слушателей самых разных возрастов и кадров, но по линии **политической**, т.е. той сферы деятельности, к которой сам я считал себя наименее призванным.

Не без волнения и потетизма был рассказан следующий эпизод:

— «То было поздним вечером близко к полуночи, когда я возвращалась с заседания конспиративного кружка, неся с собой постановления, вынесенные на этом заседании.»

«За мною неотступно следовал „филер“ (царский сыщик), каждую минуту я могла быть арестована и этим самым, по имевшимся партийным документам — выдать всех участников собрания.»

«Иду по улице, где помещались Высшие Женские Курсы. Вижу окна Зоологической Лаборатории еще освещены.»

«Я поднимаюсь по знакомой лестнице, звоню. Мне открывает Александр Федорович, поздно работавший в Лаборатории. И он пустил меня, не отказался в поздний час меня принять и этим спас меня и дело нелегального кружка!»

Но, не смотря на лестное намерение Кириловой — вплести этот столь скромный «политический цветочек» в мой академический венок, я вынужден был отвести такую незаслуженную мною честь, открыто заявив собранию, что спасением своим в тот зимний вечер Кирилова была обязана не мне, а царскому «филеру» (сыщику), оказавшемуся «Шляпой».

От советского «Чекиста» (Охранника) не так легко ей было бы избавиться, поскольку он и сам прошел бы в дверь Зоологической Лаборатории, вслед за Кириловой и арестовал бы ее на моих глазах.

Как абсолютно не причастный к практике конспиративных заседаний, я бы все же посоветовал бы не выполнять ответственные поручения по разноске нелегальных документов поздней ночью, когда каждая фигура на пустынных улицах невольно обращает на себя внимание, а делать это среди сутолоки, движения делового дня.

Отведением намечавшейся «Ревизии» и превращением ее в подобие «чествование» объектов, подлежащих критике, закончились, как уже было сказано, все более злостные наскоки на меня и дело моей жизни.

Заключать отсюда, что нападки эти прекратились вообще так думать — было бы не в меру оптимистично. Но однако все мне предстоявшие исходили от людей, настолько малограмотных и малозначащих, что никаких последствий эти их налеты не имели, оставляя по себе лишь чувства незаслуженных обид, и в лучшем случае — недоумений.

Так одним из неожиданных «налетчиков» (директора Музея-Выставки школьного типа, было выражено сомнение в окончании мною Университета, сомнение, понятное для человека, самого лишенного университетского образования.

Скандалнее оказалось посещение Дарвиновского Музея, и при том от имени солиднейшей организации — особы, самая внешность которой лишь компрометировала пославших.

С взбитой негритосской шевелюрой и кричащим губо-маникюром эта квази-ревизорша на вопрос мой о ее «музейном стаже» только фыркнула в ответ и после беглого осмотра Дарвиновского Музея вынесла

такую резолюцию: оставить экспонаты в меру допустимости свободного, просторного их размещения (т.е. примерно лишь **одну десятую** их часть) а остающуюся часть — гласило «мудрое» решение — спустить в подвал (уже загруженный!), или на двор, или «куда-нибудь» в складские помещения, или раздать другим музеям.

На мои слова, что намечается постройка здания, достаточно обширного для размещения всего наличного собрания ревизора снова фыркнула, считая сказанное мною фантастическим отводом.

Едва ли нужно говорить, что по уходе этой размалеванной особы, я немедленно отправил в Министерство и в Президиум Московского Общества Испытателей Природы, старейшим Членом которого я состою, доклад о посещении меня «Вандалом-Ревизором» с просьбой уберечь меня и Дарвиновский Музей от посягательств на него со стороны таких особ.

К моему большому удовлетворению, мне сообщили пару дней спустя, что «вандалиху» сняли с занимавшегося ею поста, тем самым предоставив ей возможность на досуге с большим рвением заниматься «губо-маню-педикюром» и взбиванием своей негритосской шевелюры.

Очень показательно, что с награждением меня Орденом Красного Трудового Знамени в связи с моим шестидесятилетием формальные нападки на меня и мой Музей тотчас же прекратились, что не помешало мне и в качестве «Орденосца» испытать не мало огорчений и порой обид, но порожденных большей частью (хотя — увы! и не всегда!) причинами стихийного порядка.

Помнится, как по совету бывшего Министра Культуры РСФСР (которому мой Дарвиновский Музей был подчинен) я вздумал обратиться по вопросу о постройке здания для последнего к дирекции Музея имени **В.И. Ленина**.

Запасшись убедительным наглядным материалом для обоснования моего ходатайства в виде Альбомов фотоснимков отзывов и диаграмм, а также красочными изданиями Дарвиновского Музея, так хорошо известными у нас и за границей, я с трудом переменяясь от захваченного «груза» дотащился до знакомого мне здания бывшей «бездумной» **Думы**, превращенного в Музей имени **В.И. Ленина**.

С трудом добравшись до приемной Замзаведующего Музеем на третьем этаже, я обратился с просьбой доложить, что по рекомендации **Т.М. Зуевой**, мне, как старейшему в стране музейцу, как профессору и основателю-директору Госуд. Дарвиновского музея, нужно получить прием по делу этого Музея.

Проходит несколько минут и сообщают мне ответ: в приеме мне отказано и что рекомендуется мне обратиться к **Ворошилову**, недавно избранному президентом нашего Союза.

Очень может быть, что обратился я и в самом деле не по адресу, но помню, что когда захлопнулась за мною дверь приемной, я не выдержал и тут же разрыдался от усталости, и неудачи моего столь необдуманного обращения.

Помню, как случившиеся по близости пожарный и две женщины-уборщицы старались, в меру сил, меня, 70-тилетнего ученого, утешить, поддержать и успокоить.

Несколько придя в себя, я, волоча с собою груз прихваченных с собою книг, альбомов, отзывов и диаграмм, изнемогая от усталости, моральной и физической, ели добрался до своей квартирки при Музее с тем, чтобы на долгий месяц проболеть от нервного, психического шока и физической усталости.

Оправившись, я, думая последовать совету, мне такой ценой мне данному, решил в письменной форме обратиться к самому Климу Ефремовичу **Ворошилову**.

Описав подробно всю трагичность положения Дарвиновского Музея, не имеющего себе равного по актуальности идеи и богатству содержания, по доходчивости для широких масс, я приложил к письму не только образцы восторженных документальных отзывов самых различных кадров посетителей, включая выдающихся ученых зарубежных стран, но и печатные труды в издании Музея, вызывавшем изумления у нас и за границей.

Учитывая былое звание **Ворошилова**, как несравненного кавалериста и любителя, и знатока конного дела, я присоединил альбом из фотоснимков с красочных картин Музея и написанных по моим планам замечательным художником **К. Флеровым** на тему: «История Конницы», со времен парфян и скифов и кон-

чая Первой Конной Армии, в организации и славных деяниях, которой **Ворошилов** принимал столь видное участие.

Отправив все это, с любовью заготовленное послание в Кремль, под расписку, в адрес **Ворошилова**, лишь незадолго перед тем избранного Президентом нашего Союза, я с хорошо понятным нетерпением стал ожидать ответа.

Но ответа **не последовало**, как и на ранее посланное аналогичное письмо на имя Шверника, лично вручившего мне некогда в Кремле мой Орден.

Что подобные реакции на обращения старого ученого и основателя Музея мирового ранга, **полстолетие** им лично опекаемого, не содействовало энтузиазму — не нуждается в особом пояснении.

Возвращаясь к сказанному ранее о том, что с присуждением мне Ордена Красного Трудового Знамени серьезные нападки на меня и Дарвиновский Музей значительно ослабли (даже главная моя «супротивница» Кирилова настолько «смякла», что на вечере, мне посвященном по случаю награждения, удостоила меня «Юудиным лобзанием»!) — не исключало ряда тягостных переживаний, обусловленных однако больше стихийными событиями, чем влиянием отдельных лиц.

Так, помнится, как в дни нашей «Великой Обороны», когда Кэвергам- фашистам уже грезилась Москва сквозь призмы полевых биноклей и занятие ее казалось делом нескольких часов, мне было сделано моим начальством предложение все более ценные сокровища Музея, по примеру остальных музеев — либо вывезти из города, либо скорее закопать поглубже в землю, а над этой «катакомбой» взорвать какую-нибудь малоценную постройку...

Но легко понять, как на меня эта предлагаемая мне роль «Герострата». К счастью, фашистским «гуннам» не было дано продвинуться к столице и возможно было ограничиться захоронением в подвалах Ново-Девичьего Монастыря лишь полусотни ящиков и то, по преимуществу с более ценными томами библиотеки: Кровопролитные бои на приступах к Москве спасли мой Дарвиновский Музей от гибели.

Не менее спасительно, чтобы не сказать «провиденциально» удалось предотвратить другую, еще большую опасность: обеспечить пребывание мое в Москве, при массовом, почти повальном оставлении ее не только большинством интеллигенции, но и Правительственных органов, всех Министерств и в том числе и Министерства Просвещения.

Это оставление Москвы было особо обязательно для всех ответственных работников и, принимая во внимание обращение фашистов с жителями оккупированных стран, имело, разумеется свое разумное обоснование.

Но столь же очевидно было для меня и моих близких, что насильственное удаление меня от моего Музея, этой «плоти от плоти, крови от крови» самого меня, явилось бы фатальным: двадцать лет, безвыездно, лето и зиму, проводя в Москве, на страже моего идейно-вещного создания, Дарвиновского Музея, я не пережил бы насильственной разлуки с ним, особенно же в случае хозяйничанья в нем фашистских орд.

Но, как предупредить эту опасность и предотвратить мою столь роковую для меня «эвакуацию»?

Единственным средством избежать ее — могла бы быть моя болезнь, но, как и обычно, при психическом подъеме, вызываемом необычайными событиями жизни, именно в те дни мое здоровье не давало поводов для жалобы.

Как вдруг, в разгаре упаковки и укладывания в ящики части коллекций и фундаментальных книг, я неожиданно почувствовал сильнейшее головокружение: вся комната, коллекции и книги завертелись в дикой пляске и я сам почти в беспомощности свалился среди них.

Перенесенный в свою комнату, я продолжал участвовать в этом «психическом канкане», при участии позывов к рвоте, — в общем некоем подобии морской болезни.

Вызванный врач определил мое недомогание, как вызванное кровоизлиянием во внутреннее ухо, предписал покой и соответственное лечение.

Диагноз был позднее подтвержден другим врачом, специалистом-отоларингологом, также предписавшим всего прежде избегание излишнего движения.

При наличии двух письменных врачебных удостоверениях о моей болезни, исключающей возможность оставления Москвы, жене моей, надежде Николаевне, удалось, хотя не без труда добиться моего оставления и отказа от эвакуации.

Короче: там — кровопролитные бои на подступах к Москве, здесь кровоизлияние в ухо оказались глубоко спасительными в деле сохранения Дарвиновского Музея, а тем самым пишущего эти строки.

Говорить о всем последующем не может быть задачей настоящих строк: моей четырехлетней госпитальной работе, при которой на мою долю выпала большая честь обслуживать десятки тысяч раненых или больных защитников нашей Великой Родины, посвящена особая статья, как и годам, по прекращении войны, ушедшим на безрадостные хлопоты касательно постройки здания для Дарвиновского Музея.

Я говорю «безрадостные», ибо не построив за все время Советской власти ни одного Музея (кроме узко-специального Музея Почвенного в Петровско-Разумовском...) ни Министерство Просвещения, ни Моссовет, не представляли себе требований здания музея массового типа в области Естествознания.

И лишь благодаря заступничеству бывшего главного архитектора Москвы, А.В. **Власова**, бывшего Зампреда Совета Министров Н.Н. **Беспалова** и бывшего Секретаря **Моссовета** Б.Е. **Родионова** при энергичной вмешательстве Академика Е.Н. **Павловского** удалось утверждения **индивидуального** типа здания для Дарвиновского Музея, а тем самым отведения для строительства достойного участка.

На этом я кончаю очерк, посвященный описанию теневых и тягостных сторон моей посильной деятельности, как ученого и как музейного работника.

Весьма возможно, что рассказанное мною об интригах и гонениях может дать повод упрекнуть меня в тенденциозности, в одностороннем выдвигании темных, отрицательных сторон бывшего окружения.

Упреки эти были бы несправедливы.

Там, где то было оправдано, в моем рассказе фигурировали ведь и лица высочайшей нравственной культуры, как покойный **Штернберг** или **Бубнов**, не в пример «примазавшимся» к ним случайным проходимцам.

Да к тому же положительным оценкам, актуальной помощи в моей работе, посвятил я ряд других статей и очерков.

Об этом вдохновляющем содействии свидетельствует самый мой Музей, только со времени Советской власти ставший подлинно Музеем массового типа, а не только образцовым «вузовским», на что он был бы обречен, не будь нашей Великой Революции.

Но именно этот гигантский сдвиг, этот размах в работе при Советской власти мог легко заставить позабыть о том зловещем фоне, на котором протекали мои светлые переживания и достижения.

И так естественно спросить: Настолько ли необходимы были эти отрицательные встречи?

Допуская даже, что без «водевильной» креатуры Кубичека и без Завадовского я, вероятно, бы не выжил на изничтожающем посту Директора Зоологического Сада (ибо сам я добровольно не решился бы его оставить!), но к чему, так хочется спросить внедрение в мою жизнь и посильную работу типов Макса Левина, или Юровского?

Естественно спросить: Так ли необходимы были эти долгими годами длившиеся тяжкие обиды, унижения и оскорбления по адресу меня и Дарвиновского Музея на сияющем и лучезарном фоне сотен тысяч восторженных и благодарных отзывов полумиллиона посетителей Музея Дарвина, моей чудесной аудитории учителей, учащихся и выдающихся ученых зарубежным стран, ученых мирового ранга?

И перед лицом неодолимо надвигающейся на меня «поздне-вечерней тени» моей жизни я, понимая «привиденциальность» ряда светлых встреч на моем жизненном пути, в минуты слабости, или усталости, невольно задаю себе вопрос: «К чему и для чего были описанные выше унижительные встречи и много ли ученых, жизненный успех которых покупался столь же дорогой ценой?»

Вопрос, непонятный, принимая во внимание простую истину, попутно высказанную моим любимейшим писателем и взятую эпиграфом для настоящего моего очерка:

«Дела и мысли людей далеко не так значительны, как их скорби.»

—А. Чехов. — «Моя Жизнь».

Наконец, последний без труда предвидимый и еще легче отводимый ожидаемый упрек. Нам скажут: большинство моих былых противников уже сошло со сцены жизни, а тем самым они стали вне хуян, согласно древнему «О мертвых либо добрый отзыв, либо — никакой!»

На это я отвечу афоризмом, может быть, и менее гуманным, но за то гораздо более оправданным:

«Мы обязаны умершим, как обязаны по отношению к живым:»

«правдивостью!»

## Добавление к Стр.....

Поскольку в существующих условиях, невероятной тесноты всех выставочных залов нашего Музея, их осмотр приходилось заменять подобием «демонстрационных лекций» для сидящих в зале посетителей, я предложил моей непрошенной гостье присоединиться к аудитории и лично ознакомиться с моей методой — помощью живого слова скрасить неодоходчивость экспонатуры.

Кстати в это время во втором музейном зале находилась группа экскурсантов, ожидавших мою лекцию.

По входе моем в залу и готовясь к моей лекции перед сидящей в ожидании аудитории, я, начиная речь, ища глазами мою «Горе-ревизоршу», не без возмущения увидав ее, поместившейся перед окном, спиной ко мне, готовясь таким образом прослушать мою лекцию, глядя на улицу..

«Сударыня» — хотелось мне сказать, вернее, крикнуть — «Из того, что вы командированы Центральным Комитетом Партии, еще не значит, что вы можете оказывать неуважение к старому ученому и слушать его лекцию, глядя в окно, на улицу. Если же улица Вам интереснее Музея, то я лично, не имел бы ничего против такой замены моего Музея — улицей, которая, кстати сказать, и больше оценила бы вашу прическу, губокюр и маникюр и прочие ваши орнаменты, мало уместные в стенах научного учреждения.»

Так мне хотелось крикнуть, но, увы! я вынужден был молчать и провести всю часовую лекцию в позорном, оскорбительном присутствии моей «вандалной» горейревизорши, до конца моей беседы простоявшей вызывающе-демонстративно обращенной все время спиной ко мне....

## Вставка в рукопись, посещенную истории (Биографии) А. Котс.

Характерным и специфическим «штришком», отображающим моральный облик ряда членов Физико-Математического факультета современного московского университета может послужить истории присуждения мне звания Доктора Биологических Наук.

Должен сказать, что самое возникновение вопроса о присуждении мне этого звания зародилось у тогдашнего декана факультета, проф. Юдинцева при моем довольно сдержанном отношении к этому делу.

И действительность как нельзя лучше оправдала это мое отношение.

Достаточно сказать, что при баллотировке в первом туре требуемого количества положительных голосов не удалось набрать: преобладали «червяки» и это не смотря на то, что никаких посягновений на занятия штатных должностей я предьявлять не собирался, будучи всецело занят лишь своим Музеем. Только неохотно согласился я подвергнуться вторичной баллотировке, да и то лишь по настойчивому провариванию **Юдинцева**, сославшегося на случайный неблагоприятствовавший мне состав голосовавших.

Крайне неохотно согласился я подвергнуться вторично процедуре факультетского голосования и на этот раз с успехом: присуждением мне ученой степени Доктора Биологических наук.

Едва ли нужно говорить, что и по получении этой степени я не имел особых оснований или поводов гордиться ею и тем менее, что предстояло «утверждение» этой степени в «Комиссии», куда необходимо было обратиться.

Но как совершенно непохоже была эта процедура на дарованное мне позднее звание члена Линнеевского общества **единогласно** присудившее мне это звание!

Немудрено, что этим званием я (как и дарованием мне званием сочлена **Зоологического Общества Англии**), я дорожу неизмеримо более, чем «кровью вырванное» звание доктора Наук родного университета.